

Сказ о «грешном» Петре

Инженер связи на Ачинской железной дороге Борис Холкин привёз на краевой семинар молодых писателей Красноярья объёмистую рукопись романа «Августейший посол».

Накануне он появился в редакции узкоспецифической газеты «Телевидение и радио» («ТиР»). Это был человек среднего роста, в очках, с усами, плотный телом, спокойный, даже несколько медлительный, и он предложил для печати главу из своего романа. Редактор «ТиРа» Виталий Кузнецов (ныне покойный), человек сложный, с характером, отчаянно смелый в поступках, журналист, несомненно, талантливый, уже в этой главе увидел произведение, заслуживающее повышенного внимания, а главное—с исторической новизной. Как известно, всякое новое—хорошо забытое старое: кто теперь помнит, как проходило посольство Петра Первого в запредельные страны?

Виталий тут же поставил тот кусок романа в номер, только спросил меня, какое-то время ходившего у него в помощниках: «Как думаешь, начальство возмутится?»—«Наверное, не одобрит,—качнул я головой.—Газета должна пропагандировать радио, телевидение, кино, давать анонсы, программы—и вдруг роман... И, конечно же, с продолжением?»—«А, будь что будет!—Виталий махнул рукой.—Зато читателям понравится...»

Главные герои романа «Августейший посол»—реально существовавшие исторические лица. Сам автор признался, что его поразила «столь редкостная компания выдающихся личностей прошлого, словно бы по заказу собравшихся в одно и то же время». А журналист из Ачинска Сергей Кардаш, рассказывая о Борисе Холкине, написал в «Красноярском рабочем» о том, как писатель «мечтал встретить живого полуцаря-полумальчишку, погрязшего в полувоенных забавах, а увидел кинокону» (фильм С. Герасимова «Юность Петра».—*В. Ш.*), как мысленно ругал Алексея Толстого за то, «что тот „промахнул“ становление Петра, что лишь мимоходом тронул ключевую пору яростного ученичества. За то, что не завершил свой чудо-роман...» (А. Толстой, «Пётр Первый».—*В. Ш.*). «Вот тогда,—писал Сергей Кардаш,—в терзаниях и муках, его осенило: написать своего—настоящего, дышащего, грешного Петра... Он собирал слова

истины—факты из жизни Петра. Он добывал их, как рудокоп. Он искал детальные подтверждения своим сомнениям, догадкам, гипотезам...»

Рукопись была обсуждена семинаром, тепло принята и рекомендована издательству «Красноярский рабочий». Борис Холкин признан вполне состоявшимся писателем со своей темой, своим голосом, хорошим знанием истории российской, способным скупые характеристики персонажей того далёкого времени оживить, очеловечить. И тогда же я с лёгким сердцем дал Борису рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР.

На том семинаре одну из глав романа Борис передал в готовящийся коллективный сборник, который в том же 1992 году вышел в свет и назывался необычно игриво, с оттенком неуважения к его авторам—«Собачий вальс». Это было начало разнузданного реформаторства, когда многие стали писать в угоду времени и низменным вкусам невзыскательного читателя, перешли на язык бульварщины—словом, занялись простым сочинительством, лишь бы развлечь раздражённую публику. По мысли Никола Себастьяна де Шамфора, «немало литературных произведений обязаны своим успехом убожеству мыслей автора, ибо они сродни убожеству мыслей публики»,—такой вижу я ныне отечественную литературу. А Борис Холкин из провинциального Ачинска писал серьёзный роман о Великом посольстве Петра Первого в страны Европы в 1697–1698 годах.

Наконец в Красноярском книжном издательстве роман «Августейший посол» вышел в свет—довольно приличная толстая книга в двадцать пять печатных листов, тиражом в десять тысяч экземпляров,—и сразу же завоевал популярность. По прочтении романа профессор Красноярского государственного университета Г. М. Шлёнская с удивлением заметила: «Так знать, так видеть Англию той эпохи может только англичанин. Откуда в нём это?..» Не знаю, как работалось писателю, но, говорят, писал он свой роман урывками, между дежурствами на узле связи и коротким сном, похожим на глубокое забытьё, а перед тем изучив и осмыслив массу исторических документов и материалов, перевершив уйму книг и журналов. Работа адская. И Борис Холкин блестяще справился с ней.

Мир запомнит...

Роман получился интересным, а интригующий сюжет держит читателя в напряжении до последней страницы. Ведь события, образы русских и иноземных политиков конца семнадцатого века узнаваемы и исторически достоверны. В авторском предисловии Борис Холкин сказал: «История, словно сделал виток, повторяется через 300 лет. Сравните: миновал тот же „суматошный век“, началось новое хождение в ученичество на Запад. Нас раздрают те же волнения, противоречия, бунты... Даже день возрождения России мы отмечаем в день рождения Петра. И, наверно, впереди нас ждут сокрушительные „нарвские“ конфузии, но не забудем—вслед им грядут „Полтава, Виктория!..“» Может быть, и так. Посмотрим. Однако роман Бориса Холкина вышел в свет как раз вовремя, он как бы подсказывает сегодняшним политикам верный путь к реформам. И надо отдать должное автору, сумевшему разглядеть аналогию между прошлым и будущим. «Не слишком ли дерзко, не слишком ли вопреки общеизвестному?—спрашивает Сергей Кардаш и отвечает:—Слишком. И в этом соль...» Но где же, где сегодняшний Пётр?..

Борис Викторович Холкин родился в 1960 году в Омске, окончил среднюю школу с математическим уклоном в городе Ангарске Иркутской области, куда переехали родители. В школе занимался в литературном клубе, и тогда же были написаны им первые рассказы. Окончив Омский транспортный институт, в 1982 году Борис поселяется в Ачинске, работает инженером связи на железной дороге и пишет, пишет рассказы. В 1990 году они были опубликованы в местных газетах «Ленинский путь» и «За ачинский глинозём». Через семь лет Борис вплотную приступил к работе над романом о посольстве Петра Первого в Англию.

Стоит отметить, что книга вышла из-под пера молодого, талантливого писателя, имевшего свой взгляд на историю. Язык романа чист, не засорён «газетчиной» и канцеляризмами.

Пока мы читали поистине любопытный исторический роман, Борис Холкин завершил и, как я слышал, отдал в то же издательство новую рукопись под тем же названием—продолжение или окончание дилогии.

И вдруг—безвременная кончина Бориса Холкина, смерть на взлёте... Только-только был вручён ему членский билет Союза писателей России, от него ждали многого, ведь Борис успел заявить о себе как талантливый исторический романист... В феврале 1999 года ему исполнилось бы тридцать девять лет. У него внезапно остановилось сердце, не выдержав колоссальной нагрузки: не согнулся, не сломался, а просто умер. Но он не затерялся в нашей памяти. Стоит лишь взять в руки его роман и окунуться в события трёхсотлетней давности—и мы всё вспомним.

Позвонил Михаил Атласов, с которым я знаком почти полвека. Человек он хороший, славный и как художник помечен «искрой Божьей».

...Наше знакомство состоялось при печальных обстоятельствах—после похорон его пятилетней дочки. Тогда, правда, знакомством это назвать было нельзя, потому что и Миша, и его жена Оля, почерневшие от горя, никого не могли запомнить. Дом новый, только что заселён, и эта нечаянная смерть как-то сразу сблизила всех. Мы жили в одном подъезде.

Жили мы на разных этажах: я на втором, а Михаил на пятом,—дружили семьями, но встречались нечасто. Михаил работал в Худфонде, «сидел» на заказах, вечерами писал картины «для себя». Их двухкомнатная квартира походила скорее на художественную мастерскую, чем на жильё. Всякий раз, когда я забегал на минуту к Атласовым, Михаил долго меня не отпускал. Расставлял на полу, прислоняя к стульям, к столу, к стене, к одежному шкафу, свои многочисленные готовые полотна и с жаром рассказывал, как он «схватил» тот или иной сюжет и как нашёл тот или иной выигрышный ракурс. Небольшие картины, на подрамниках или уже вправленные в багетовую раму, оконченные или ещё не прописанные, он то доставал из-за шифоньера, то снимал со шкафа, ставил так, чтобы выгодней падал свет от окна—если это был день, от электрической лампочки—если это был вечер. Туговатый на ухо, Михаил говорил громко, может, даже слишком громко. Я тоже стал говорить громче, и так мы орали на весь дом.

—Папка мне со слухом подпортил, зато глаза посадил как надо, и я с детства всё вижу не как все смертные,—говорил он.—В возрасте семи лет я заболел корью, многие тогда болели, и был на грани смерти. Целую неделю держалась высокая температура. Врачей в деревне не было, только ветеринар. И он-то, на свой страх и риск, поставил мне «лошадиную» дозу стрептомицина. Выжил, поправился, но частично потерял слух. Верю, что Господь выручил, чтобы я выполнил то, ради чего Он дал мне жизнь.

В пятилетнем возрасте у Миши впервые появились карандаши—отец купил. Было их немного, штук шесть или семь, но зато цветные! На коробке рисунок—гладиатор Спартак с копьём и круглым щитом в руках. Когда Михаилу исполнилось пятнадцать лет, он поступил в вечернюю художественную школу в Красноярске, однако с учёбой пришлось расстаться. Отец сказал: «Ты, конечно, сынок, молодец, но пока поживи дома, сил наберись, да и средств на обучение у нас пока нет». Родители работали в колхозе, а время было послевоенное, строгое, не очень-то и сытное, и послушный мальчик уехал в деревню. Но мечту о художественном образовании не оставил.

Поступил заочно в Московский народный университет искусств имени Крупской, высылал рисунки на рецензии. Окончив два курса, понял, что такая форма обучения ничего ему не даст. Бросил. Окончил школу фзо, стал трактористом, работал в леспромхозе, райпотребсоюзе. Учился рисовать самостоятельно, для чего выписал журнал «Художник». Статьи и репродукции с картин живописцев, помещённые в журнале, подкрепили его сознание: надо учиться. В 1969 году приехал в Красноярск, работал землекопом, трубоукладчиком, жил в общежитии, а вечерами учился в художественной школе, через два года поступил в художественное училище. Учёба давалась нелегко, ведь, кроме дисциплин по искусству, приходилось изучать предметы общеобразовательной школы за десятилетку. Нагрузка была колоссальной.

— В училище больше всего любил рисунок, — рассказывал Михаил. — По этому предмету получал пятёрки. А вот живопись давалась труднее, и не потому, что не понимал...

...Моя семья вскоре переехала на другую квартиру, и мы встречались от случая к случаю: иногда Атласовы гостили у нас, иногда — мы у них. Михаил показывал новые работы, и разговоры наши касались, как всегда, творчества. Жёны секретничали в комнате или на кухне, а мы, азартные и возбуждённые, бывало, так разорёмся, что кто-нибудь из женщин не утерпит, заглянет к нам с выговором: — Ну что это такое, господи! Орёте как оглашенные. Что соседи подумают?..

Мы затихали, но постепенно повышали голоса, и всё начиналось сызнова: орали, спорили...

Прошли годы. Атласовы переехали жить на Взлётку. И теперь чаще телефон заменял нам непосредственное общение. Михаил обижался в трубку:

— Хоть бы приехал, посмотрел: я тут новую картину закончил. Отдам в «Диану», может, кто купит. Тебе первому хочу её показать. Приезжай.

Михаил встречает меня радостным возгласом, обнимает, ведёт в зал — всё в ту же мастерскую: везде картины, картон, рамы, багет, рейки, холсты в рулонах.

— Ну нет у меня мастерской! — Михаил разводил руками. — Не положено, потому как не член Союза художников...

Вероятно, из-за проблемы со слухом он скромно живёт, рисует и ничего ни у кого не просит. А мог бы, наверное, и в Союз вступить, и персональные выставки обеспечить... Пробиться в наше время непросто, нужны протекции и деньги. Денег у простого художника нет, а протекция... Да кому это нужно?! Всяк самого себя тешит, потому что новый «моральный кодекс» нынче негласно действует: человек человеку — не друг, не брат и вообще неизвестно кто. То и дело слышишь: «Это ваши проблемы...»

— Но ведь ты художник, Миша! — я уже теряю терпение. — Ты настоящий художник! И школа — старая, и манера письма — классическая. Сейчас так не пишут, а всё больше — мазками... Может быть, это и неплохо на больших полотнах...

Михаил согласился:

— Да, любил я всё прописывать в картине — подробности, детали. А в то время всю гулял абстракционизм. Философия была такова, что просто надо было брать кисть, макать в краски и мазать холст. В Америке привязывали кисть к ноге обезьяны... И, представь, находились теоретики, преподносили эти «творения» как гениальность. И ведь люди покупали эту мазню. Делалось это специально, чтобы люди не знали истинную цену искусства.

— И сейчас то же самое делается...

— Художник должен выразить своё видение мира, это моё мнение, сделать так, чтобы его произведение было знакомо людям, подано с неожиданной стороны, в другом ракурсе, но понятное, доступное, — продолжал Михаил. — И совсем не претендую, чтобы художник в точности изображал на холсте то, что увидел в природе, такого просто не может быть. В искусстве этого и не требуется. Но я и против шарлатанства в искусстве. Картина сродни театру, только на одном листе.

И вдруг я начинаю понимать, почему Михайловы картины такие маленькие, продольные, не больше полуметра в поперечнике, и мазок тонкий, изящный, не комковатый и броский, как, скажем, у Сурикова или Руйги. Вся жизнь Михаил работал в стеснённых условиях, в ограниченном пространстве: не отойти, чтобы посмотреть, как ложится краска, — потому и выработалось близкое зрение, потому и мазок мелкий, тонкий, чистый...

Вспомнилась одна из давних в Красноярске художественных выставок (выставочный зал в те годы располагался в Покровской церкви), на которую Атласов представил одну-единственную картину: берёзовая роща, ярко освещённая солнцем, и робкие тени прячутся в её глубине. Возле неё-то чаще всего и останавливался зритель, отходил и возвращался. Ведь что-то притягивало его к полотну! Ту картину я помню до сих пор.

Михаил опять выставляет передо мной картины — пейзажи, пейзажи, пейзажи... Небо, земля, вода — три ипостаси живописца. По реке идёт далёкий-далёкий пароход. Над зелёным лесом и синими горами плывут густые облака, и солнце брызжет в прореху во все стороны. А вот стоит на уснувшей земле домик со светящимся окном, над ним — полная луна, и призрачное сияние от неё заполняет всю округу. Всматриваюсь в живописное полотно — и ощущаю себя там, перед этим сказочным домиком; очарованный, я вошёл туда, где этот блёклый, рассеянный свет и эти рыхлые тени на розоватом снегу под окном, и мне чудится,

что здесь я уже когда-то бывал, и не раз. Не знаю, сколько времени я так простоял, пока Михаил не тронул меня за плечо:

— Понравилась? Мне тоже нравится.

Ту самую картину («Лунная ночь зимой») купила моя дочь Оксана. Михаил долго упирался, предлагал ей другие полотна, но Оксана оказалась крепким орешком—не отступилась. Теперь Михаил пытается заново писать «Лунную ночь зимой»—и не может. Получается совсем другой пейзаж. И впрямь, в одну реку нельзя войти дважды.

— Состояние художника—это такое волнение, такое нервное напряжение,—говорит Михаил.— Для меня очень тяжело приступить к работе, это так же, как открыть новую книгу: обложка есть, а что там внутри? Начинаешь читать—и возникает волнение. Происходит процесс вживания в литературный образ. Это психическое состояние, когда надо найти то, чего ещё нет у тебя, но оно существует. Процесс идёт в голове, процесс идёт на холсте. Бывает так, что болят и напрягаются все мышцы. Происходит контакт твоего «я» с холстом. Наносишь мазок, другой, третий—и включается сознание, что где-то там, на холсте, получается мозаика. Сознание символов в красках, которые ты кладёшь на холст, создаёт нужный образ. В процессе работы происходит момент усталости от «перегрева» сознания и мышц. И этот процесс идёт постоянно. Иногда на работу трагишь больше года, а она не поддаётся. А бывает и такое, что напишешь картину на одном дыхании...

Уроженец небольшой деревеньки Грибово в Казачинском районе, Михаил Атласов не только любит природу, он её боготворит. «Кругом лес, поляны, много грибов, ягод. Красота всюду. Природа была на виду, рядом. Желание рисовать зародилось естественно. И ещё дом наш был бревенчатый, побелённый изнутри белой глиной. Поскольку помещение тесное, матери приходилось белить его несколько раз в году—побелка осыпалась. Зимой, когда на улице мороз, лежал или сидел на кровати, смотрел на осыпавшиеся стены, возникали фантазии и образы. А летом, когда выходил босиком на траву,—вокруг лес, облака, большое небо, солнце, цветы—симфония бытия. Зимние фантазии превращались в реальность».

В нём, городском жителе, много крестьянского чутья, смётки, старательности. Этот его природный дар всегда приводил меня в восхищение. Наделён он и литературным даром. В «Красноярской газете» читаю его статью, местами похожую на фрагменты из художественного рассказа.

Вдумайтесь—вот какой образ создал художник: «Я часто любовался небом, оно было для меня всегда интересно, окружало меня, как шатёр, от горизонта до горизонта... Небо было—как букварь с картинками и как театр, каждый раз новое, фантастическое, красочное, оно давало повод для размышлений и фантазий. Было интересно знать, как формируются облака, почему так, а не этак. Мои наблюдения за природой помогали мне предсказывать погоду на завтра... Сейчас невозможно предсказать. Климат в Сибири стал изменяться... Наблюдая природу в силу своей профессии, я и писал её в красках, восхищался закатами, раскатами грома, сверкающими молниями, причудливыми облаками».

Художники, как и писатели, пишут образами. Они и думают образами. Я знаю немало живописцев, заявивших о себе как талантливые литераторы. Художник из Дивногорска Борис Туров—поэт, член Союза писателей России. Оригинальные, необычные нашему восприятию стихи писал художник Владимир Капелько из Абакана. Удивительные стихи и по сей день пишет старейший художник, живущий ныне в Финляндии, русский финн Тойво Ряннель. А покойный Владимир Леонтьев, окончивший художественное училище (потом он завершил своё образование в Иркутском университете), стал писателем, автором книги очерков «Широкий прокос» и повести «В горах Путорана», вышедшей уже после его смерти. А живописцы-классики... Репин, Васнецов, Нестеров, Мясоедов... Почитайте их мемуары. Да это же великолепная художественная литература! Даже в письмах они—художники слова.

— Образное мышление,—подсказал Михаил.

— Художники, и этим всё сказано,—согласился я и спросил Михаила:—Сколько же времени прошло с той нашей первой встречи? Мне кажется—вечность.

Михаил пожал плечами:

— Мы были молодыми, а сейчас... Вон и ты уже поседел, да и я давно на пенсии.

Да... мы были в плену у времени и не заметили этого. Людвиг Фейербах писал: «...Мир совершенно правильно ценит человека лишь согласно тому, что он имеет, чего он может достигнуть». Картины Михаила Ивановича Атласова висят в домах ценителей живописного искусства не только в России, но и за рубежом: в Швеции, Югославии, Японии, Китае, Германии, Польше, США, Южной Корее. Труд талантливого художника Атласова любители живописи приравнивают к трудам великих мастеров кисти—Шишкина, Левитана, Куинджи.